

Но именно этим принципом — «вычитания» хочет мерить свой роман Пастернак: ведь он действительно переживает его, сознает, рефлексировать не как литературу, но как мысль, а еще чаще — как жизнь, как ее большой неоформленный фрагмент, как часть собственного «плодотворного существования», которая призвана жить, продолжая давать плоды, и после смерти творца — как реальный залог собственного бессмертия. Жизнь, воссозданная творческим воображением, в которую перелита собственная жизнь, — настолько полно, что автору жить уже как бы нечем...

Такого рода признаниями переполнена частная переписка Пастернака, и наиболее чуткие его корреспонденты (особенно глубоко — О. М. Фрейденберг) чувствуют при чтении романа (на разных стадиях его написания) то же самое. Вот, например, в каких выражениях сообщает сестре Пастернак о работе над своим главным (как он сам это понимает) произведением: «А теперь я с такой же бешеной торопливостью (как и при переводе семи «Шекспировских драм», — пишет он перед тем. — И. К.) перевожу первую часть Гетевского Фауста, чтобы этой гонкой заработать возможность и право продолжать и, может быть, закончить зимою роман, начинание совершенно бескорыстное и убыточное, потому что он для текущей современной печати не предназначен. И даже больше, я совсем его не пишу, как произведение искусства, хотя это в большем смысле беллетристика, чем то, что я делал раньше. Но я не знаю, осталось ли на свете искусство, и что оно значит еще. Есть люди, которые очень любят меня (их очень немного), и мое сердце перед ними в долгу. Для них я пишу этот роман, пишу как длинное большое свое письмо им, в двух книгах» (Письмо Фрейденберг от 29 июня 1948 г. [3, с. 245—246]). И снова о романе (но не как о романе, не как о литературе или искусстве) тому же адресату: «Мы все-таки, помимо революции, жили еще во время общего распада основных форм сознания, поколеблены были все полезные навыки и понятия, все виды целесообразного умения» (середина октября 1948 г. [3, с. 249]).

А вот впечатление по прочтении романа О. М. Фрейденберг, про которое автор романа сказал: «Твое письмо в тысячу раз лучше и больше моей рукописи» [3, с. 251]. «Наконец-то я достигла чтения твоего романа. Какое мое суждение о нем? Я в затруднении: какое мое суждение о жизни? Это жизнь — в самом широком и великом значении. Твоя книга выше суждения. К ней применимо то, что ты говоришь об истории, как о второй вселенной. То, что дышит из нее — огромно. Ее особенность <...> не в жанре и не в сюжетоведении, тем не менее в характерах. Мне недоступно ее определение <...> Это особый вариант книги Бытия. <...> Как реализм жанра и языка меня это не интересует. <...> В романе есть грандиозность иного сорта, почти непереносимая по масштабам, больше, чем идейная. <...> Мне представляется, что ты боишься смерти, и что этим все объясняется — твоя страстная бессмертность, которую ты строишь, как кровное свое дело» (Из письма О. М. Фрейденберг от 29 ноября 1948 г. [3, с. 250—251]). И Пастернак ей отвечает, как всегда в письмах к сестре, на пределе искренности и доверительности: «Это не страх смерти, а сознание безрезультатности наилучших намерений и достижений, и наилучших речей, и вытекающее из этого стремление избегать наивности и идти по правильной дороге с тем, чтобы если уже чему-нибудь пропадать, то чтоб погибало безошибочное, чтобы оно гибло не по вине твоей ошибки». И далее: «Часто жизнь рядом со мной бывала революционизирующе, возмущающе мрачна и несправедлива, это делало меня чем-то вроде мстителя за нее или защитником ее чести, воинствующе усердным и проникательным, и приносило мне имя и делало меня счастливым, хотя, в сущности говоря, я только страдал за них, расплачивался <за них.> ...

И перед всеми я виноват. Но что же мне делать? Так вот, роман — часть моего долга, доказательство, что хоть я старался» (Письмо Пастернака сестре от 30 ноября 1948 г. [3, с. 251—252]). В письме к О. М. Фрейденберг от 7 августа 1949 г.: «Я хочу его дописать для самого себя, т(о)